

Памяти Чехова¹

В нынешнем году беспощадная смерть унесла писателя, имя которого стало в последние годы входить в общее сознание, как имя всем дорогого, всем нужного человека, умевшего говорить о чём-то всем близком, и говорить так, что его внимательно слушала вся чуткая Россия, и к нему начала прислушиваться Европа. О Чехове, как о большом художественном даровании, как о творце многих прекрасных поэтических созданий, одних из прекраснейших в молодой, но великой русской литературе – говорилось много, и многое ещё будет сказано. Я хотел бы сейчас коснуться личности самого Чехова, её внутреннего содержания, конечно, в самых общих чертах, тех вопросов, которые его волновали, и в которых мы чувствуем самих себя. Чем дорог Чехов в истории нашей литературы, чем дорог он теперь, в эту минуту? Чехов носил в себе настроение целого поколения, поколения, теперь уходящего в прошлое. Что же сказал Чехов, что сказала уходящее ныне в прошлое поколение? Завещало оно нам что-нибудь или не завещало? Или оно осталось пустой страницей?

Этот вопрос задавала критика и задавало общество, смущаемое большим и пленительным поэтическим дарованием Чехова, который тратится как будто на мелочи и не даёт серьёзных положительных ответов на запросы жизни.

Прежде всего вопрос о том, что Чехов тратится на мелочи, есть вопрос совершенно школьный. В XVII–XVIII вв. от писателя требовали соблюдения литературных правил, кристаллической формы, установленной академическими теориями; в эпоху романтизма стали требовать высокой идеи в прекрасной форме, затем общественной тенденции, наконец, эпического воспроизведения действительности, определённых бытовых картин, отчётливых типов. А между тем во все времена, какие бы требования ни ставила эпоха, как бы ни ограничивала она творческий процесс, писатель (подчинялся он этим требованиям, или не подчинялся) всегда выражал в своих произведениях своё личное отношение к проходящим перед углублённым творческим сознанием явлениям жизни. Какой бы литературной теорией, ложноклассической, романтической или натуралистической ни были проникнуты критика и общество, последние резко чувствуют в литературном произведении личность творца, живое лицо, создавшее произведение. Отношение творца к переживаемому есть наиболее ценный для нас элемент.

Чехов изображал те стороны жизни, на которых останавливалось его внимание. И, без сомнения, останавливал он на тех или других явлениях своё внимание и изображал их не потому, что хотел изобразить именно их, а

¹ Речь, произнесённая на годичном акте гимназии М. Н. Стоюниной 24 ноября 1904 г.

потому, что на этих явлениях он мог лучше всего выразить своё отношение к жизни. Чехов – лирик по преимуществу, но лирик со своеобразными приёмами.

В чём состоит отношение Чехова к жизни?

«У Чехова нет идеалов», – такими словами встретил его современный ему руководитель общественного и литературного мнения Михайловский; но уже после «Скучной Истории», первой большой повести, повторив, что у Чехова идеалов нет, Михайловский прибавил: «но есть тоска по идеалу, только нет крыльев: он задумал лететь, но не нашёл у себя крыльев и затосковал». Итак, тоску по идеалам отметил у Чехова ещё Михайловский, и с тех пор, кажется, никто не отрицал в Чехове этой тоски. Но Михайловский сказал, что Чехов – бескрылый. Поколение Чехова, его сверстники, братья и сёстры не понимали его тоски, а осознавали только, что он бескрылый. Поддерживаемое Михайловским, оно рвалось к положительным идеалам, находило их, верило им и ждало их осуществления даже в скучные 80-ые годы, а Чехов всё не находил их, всё продолжал тосковать, всё не верил и всё не имел крыльев. И редкое у него слово «верь» звучало больше робкой надеждой, и в последней пьесе выражает только надежду, только ожидание, а не определённый идеал.

Чехов тосковал по большой правде, по разрешению смысла всей жизни во всём её объёме.

В «Скучной Истории» старый профессор, задумавшись под конец своей жизни над всем, что было им пережито, удивляется, как пуста и бесплодна была его жизнь, как ничего не дала ему, ничего не сказала другим; и на вопрос, отчего это так, он отвечает, что во всём, что он переживал, он не видел «общей идеи, богоживого человека», и прибавляет при этом: «А коли нет этого, это значит, и нет ничего...». И вот, грустно размышляя накануне смерти, – он сознаёт, что в нём не было ничего, т. е. жизнь его была бессмысленна, потому что в ней не было живой идеи, живого бога. А рядом с ним, ненужным и отжившим сибаритом, томится и мечется молодое чуткое только что выступившее в жизнь существо и не знает, что делать, как быть: тоже ни общей идеи, ни бога жизни нет, жизнь пуста, а душа просит, напряжённо ждёт ответа. Он – единственный человек, к которому она может обратиться, потому что вокруг – ни одного человека, кто бы знал, как жить. Со своими страстными вопросами жизни она обращается к нему: *«Ничего, я, Катя, не могу... По совести, ничего не знаю»* – отвечает единственный человек, который, по крайней мере, хоть тоскует и не мирится с этим отсутствием смысла в жизни и откровенно говорит, что не знает.

А в другой – позднейшей повести, столь же значительной по смыслу, лицо, от имени которого ведётся рассказ, говорит про жизнь своего городка: «Во всём городе я не знал ни одного честного человека...»

Лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой; у большинства из них были высокие стремления, честные, чистые души, но они не понимали жизни... и, выйдя замуж, скоро старились, опускались, безнадёжно тонули в тине пошлого мещанского существования.

Изображение безнадёжной тины пошлого мещанского существования, страшной обыденности, от которой ни один человек не может спрятаться, уездной русской обывательской жизни, столичной тесноты, в которой люди, запрятанные как в футляре, пишут ненужные бумаги, играют в винт, проводя всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говоря и слушая разный вздор, – изображение безвыходной пошлости с одной стороны, с другой – неудовлетворённости некоторых чутких и тонких людей, особенно девушек, изображение их страданий мечтаний о том, что «есть же где-то на этом свете, у каких-то людей жизнь чистая, благородная, тёплая, изящная, полная ласки, любви, веселья, раздолья», и незнание, слепое незнание, как из этого выйти, как найти другую жизнь – вот в общих чертах Чеховское в нашей литературе. Измученные этим раздвоением, люди, изображённые Чеховым, в последних его произведениях обещают другим «скорое успокоение от житейской муки, скорый отдых». «Мы отдохнём, мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах, мы увидим, как всё злое земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежной, сладкой, как ласка... Я верую, верую... Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, погоди... Мы отдохнём». И три сестры пройденный путь страданий отмечают такими словами: «Пройдёт время, и мы уйдём навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас здесь было; но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас; счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом и благословят тех, кто живёт теперь... Кажется, ещё немного, и мы узнаем, зачем мы живём, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!..» И они не знают, и никто не знает. И слова их надежды звучат робкой молитвой о том, чтобы скорее наступило время, когда всё разъяснится, и наступит великое счастье, разрешение всех вопросов, утоление всех.

Искание смысла жизни – составляет основную живую черту Чеховской личности и его творчества. Чехов искал основного смысла жизни, освещавшего для каждого без исключения все вопросы души; он принимал в своё мировоззрение прогрессивные общественные стремления, без всяких буржуазных оговорок и реакционных ограничений: но он не хотел удовлетвориться этими идеалами, на которых успокаивалась так или иначе современная ему интеллигенция, даже в лучших своих представителях. Он чувствовал глубже и смотрел дальше. В таком определении Чеховской личности нет никакого преувеличения, никакой идеализации поминаемого сейчас только что угасшего писателя. Я говорю только, что Чехов искал, и не говорю, что он нашёл и мог найти. Найти он не мог. Но всем существом своей глубоко правдивой души он чувствовал, знал, что во всех, ответах, которые давались кругом, нет полной всеразрешающей правды.

Казалось бы, что в пьесе «Дядя Ваня» в заключительных словах Сони звучит что-то похожее на Царство Божие в небесах: «Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах...» Но в этих словах слышны только слёзы: в них нет живой уверенности, а только робкое, неопределённое, далёкое предчувствие. Твёрдой веры не было у Чехова; эти слова Сони – только

светлая, детская мечта, которой он хочет заглушить слёзы своих мучений, своей тоски... От всей пьесы остаётся острое чувство жалости к заброшенным, самим себе непонятным и потому ни для чего ненужным людям: и хочется, как Соне, всякому, даже не знающему веры, молиться кому-то о выходе из этой бессмыслицы. Искание смысла жизни не имело у Чехова крыльев, но крыльев не для общественной деятельности, а для светлой, разрешающей все узлы жизни, веры. Здесь слабость Чехова и всего его поколения.

Наряду с исканием смысла в жизни у Чехова было одно основное чувство, определяющее его, это любовь к людям. Чехов любил людей. Он любил их не отвлечённо, не идею человечества, не человечество, не народ, но каждого человека, как человека. И именно любил, а не жалел, как Достоевский, напр~~имер~~. Он любил просто, нежно, иногда застенчиво влюблённо, в каждом человеке не его достоинство, не личность, а живую человеческую душу: он просто любил, просто чувствовал нежность ко всякому внутреннему движению души, не безразличный к тому, чиста она, или не чиста, но не задаваясь никакими требованиями пуританской общественной и нравственной морали. Так, его трогала влюблённость девушки, если только он в этой влюблённости видел душевную чуткость и нежность; его трогали детские радости, детское мировоззрение, своеобразное нравственное чувство детей, не всегда укладываемоеся в рамки пуританской морали. Ничего намеренного, ничего предвзято рассудочного, суживающего жизнь на холодном сознании долга, он не понимал; ему было чуждо заглушение в себе простых человеческих чувств для какого-нибудь отвлечённого идеала; в его жизнеотношение совершенно не входило никакого аскетизма, ни метафизического, который был свойствен Соловьёву, ни общественного аскетизма Михайловского, ни нравственного аскетизма Толстого.

Он принимал жизнь во всей совокупности её нежных и радостных проявлений, со всеми человеческими потребностями в любви и в счастье. Он отрицал в ней грубое, низкое, нечистоплотное, грязное, засасывающее в тину мелких мещанских интересов.

Но он не отвергал, он любил, как ребёнок, всё, что люди любят, как дети. Он любил в людях не возможность, не идеал, не дальнего, а ближнего; он принимал целиком здешнюю земную жизнь и не отрицал её. В этом поэзия Чеховских изображений жизни – в этом способность его так тонко, так задушевно чувствовать каждую житейскую мелочь: поэтому-то на ряду с картинами прошлого, отвратительного существования опустившихся людей, у него столько любовных описаний, поэтических чувств и отношений.

Эта нежная женская любовь к людям и к их жизни была коренной чертой Чеховской личности, неотделимой от его тоски и искания смысла жизни, определяющей в значительной степени самый характер этой тоски и искания.

Предположим, что какой-нибудь из теоретических ответов на вопрос о смысле жизни вдруг на минуту показался Чехову тем, что он искал, и

предположим, что он уже готов принять его в ту же минуту – перед ним встанет одно из тех душевно чутких молодых существ, которые изображены в таких его произведениях, как «Моя вся жизнь», «Слуги из Геронта».

Есть жизнь простая, обыденная (употребляю это слово не в смысле пошлой), человеческая жизнь со всеми её простыми радостями, порывами к счастью, наслаждениями, огорчениями. Как осветить всю эту жизнь не теоретически, не светом сияющего торжественно и далеко идеала, а так, чтобы каждая человеческая душа почувствовала в каждом своём порыве не что-то пустое, бессодержательное, а всесогревающий смысл жизни? Слова о великих и отвлечённых идеалах не раз раздавались в истории людей – и отвлечённость этих идеалов оставляла их чуждыми для жизни, создавая бездну, ничем не заполненную. И высоко на одном берегу бездны сияли великие и холодные идеалы, а на другом жизнь текла всё также, только сверху освещённая, и совсем не согретая, не оживлённая этим бесконечно высоко стоящим солнцем. Раздавались в истории людей и другие слова, слова о проникновении идеала в жизнь, о сведении его на землю: но тогда умаляли идеал, приближая его к жизни, и делали отвлечённой жизнь, чтобы их помирить. На вопросы жизни давались ответы, которые могли удовлетворить только того, кто в своём отвлечённом теоретическом мышлении поднялся высоко над жизнью и смотрел на всё свысока, или же давались ответы, удовлетворявшие запросы по преимуществу людей с политическими инстинктами. Для внутренней, интимной, просто человеческой жизни – не оказывалось света. Вот этих-то противоречий и не мог преодолеть Чехов, и они остаются и перед нами. Он просто любил людей и их простую людскую жизнь и не знал того ответа, который мог бы её осветить.

Я говорю, что вопрос, который заключала в себе личность Чехова, остаётся и перед нами. Но его тоска, тоска человека, не удовлетворившегося никакими полуответами, прошла не даром. Эта тоска по высшей правде, которой переболело предшествующее поколение, рождает в нас крылья, потому что это была именно тоска по большим крыльям и широким просторам. Пришло ли это время, есть ли у нынешнего поколения крылья, или оно ещё томится и ждёт? Ждать теперь уже недолго, время близко. Только бы любить людей, так просто, так нежно любить, как любил Чехов, и так хотеть полной, всем нужной для всего мира и для каждого человека дорогой правды, как хотел он. Помянем же добрым словом того, кто так много любил, так мучительно искал полной правды, чьи страдания – я верю – теперь переходят в радость для тех, кто живёт после него, значит, для нынешнего поколения, для вас. Он завещал любовь и тоску по вере. Пусть же в вас эта тоска, эти страдания, скажутся пониманием смысла жизни, радостью, светом, верой.

Владимир Гиппиус.